

Константин Леонтьев

**Несколько воспоминаний и
мыслей о покойном
Ап. Григорьеве. Письмо...**



Константин Николаевич Леонтьев

Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве. Письмо к Ник. Ник. Страхову

«...Ап. Григорьева Тургенев называл: «Огромный склад сведений и мыслей, без всякого регулятора». Раз он сказал при мне:

– Я ужасно люблю тех, которые меня бранят; Ап. Григорьев только исключение; он меня бранит – и я его ненавижу...

Боюсь, что в этом причудливом отзыве баловня судьбы и общественного вкуса крылось тайное сознание того, что из немногих порицателей его только один Григорьев был прав...»

Содержание

Константин Леонтьев Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве Письмо к Ник<олаю> Ник<олаевичу> Страхову	0004
#2	0017
#3	0020
#4	0036
#5	0041

Константин Леонтьев Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве Письмо к Ник<олаю> Ник<олаевичу> Страхову

М^{<илостивый> г<осударь!>} Незадолго до кончины Ап. Григорьева я познакомился с ним {1}. Имя его я знал и прежде – в первой моей молодости я читал его статьи в «Москвитянине» и сам тогда не знал, верить ли ему или нет? Слог его я находил смутным и странным; требования его казались мне слишком велики. По критической незрелости моей я тогда был поклонником «Записок охотника», и мне казалась возмутительной строгость, с которой Григорьев относился к первым произведениям Тургенева {2}. (Григорьев отнесся иначе к более зрелым произведениям этого писателя и доказал этим свой критический такт.) Однако многое и из тогдашних его статей осталось у меня в

памяти, и суждения не только о наших, но о А. де Мюссе и др<угих> иностранных писателях, я и тогда это чувствовал, были исполнены глубины, изящества {3} . Я чувствовал это и тогда, но отчасти благодаря моей собственной незрелости, отчасти благодаря ширине духа самого Аполлона Григорьева, с *трудом вмещавшегося в слово*, я все-таки повторял: «Непонятно, чего хочет этот человек!»

Я не понимал, напр<имер>, тогда ясно, почему Григорьев, отдавая справедливость дарованию Писемского, столь сильно предпочитает ему Островского. И в том, и в другом я видел лишь комизм. Я не умел тогда понять, что Островский более *положительный* писатель, чем Писемский, что положительность его особенно дорога своим реализмом, ибо положительность его изображений была не в *идеале*, а в теплом отношении к русской действительности, в любви и поэзии, с которой он относился к нашему полумужицкому купеческому быту, несмотря на его суровые стороны и не скрывая их.

Апол<лон> Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; его идеа-

лом была богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности.

Так я понимаю его теперь; быть может, я и ошибаюсь, Вам, как ближайшему его другу, предстоит исправить мои ошибки.

Ап. Григор<ьев> стоял особняком. Московские кружки – западников и славянофилов – одинаково отталкивали его.

Разгульная ли жизнь Григорьева, чувственность ли, дышавшая в мыслях его, не нравились строгим славянофилам, известным чистотою своей семейной и личной жизни, но Григорьев близок с ними не был.

Между Аксаковыми и Григорьевым была та же разница, какая есть между теми *вполне русскими* стихами Кольцова, где дышат нравственность и чистая вера, и теми тоже *вполне русскими* стихами Кольцова, где дышат разгул, тоска по разгулу и чувственность.

Со славянофилами я лично не был знаком; зато *изустные* отзывы передовых людей другого рода о Григорьеве были мне хоть урывками, но хорошо известны. Я бывал тогда неред-

ко в одном доме {4} , где встречал Кудрявцева, Грановского, Боткина, Тургенева и др.

Тургенев был всегда блестящим светским человеком, капризно-остроумным в обществе вроде так хорошо изображенного им Горского («Где тонко, там и рвется»).

Он любил небрежно и даже презрительно отзываться о своей собственной литературной деятельности; ценил высоко только Пушкина и Гоголя, а из современных ему авторов отдавал справедливость всем, не восхищаясь ни одним. Строгость его к другим выкупалась, как я сказал, строгостью его отзывов и о собственных произведениях (тогда еще не были им написаны ни «Рудин», ни «Дворянское гнездо»).

Ап. Григорьева он называл: «Огромный склад сведений и мыслей, без всякого регулятора». Раз он сказал при мне:

– Я ужасно люблю тех, которые меня бранят; Ап. Григорьев только исключение; он меня бранит – и я его ненавижу...

Боюсь, что в этом причудливом отзыве баблонья судьбы и общественного вкуса крылось тайное сознание того, что из немногих пори-

цателей его только один Григорьев был прав.

Что касается до первого отзыва (т. е. «Григорьев есть склад мыслей и познаний без регулятора»), то я не слышал его от самого Тургенева; мнение это передавал при мне покойный профессор Кудрявцов.

Частная жизнь Григорьева и того круга, к которому, как слышно было, он тогда принадлежал, жизнь, так сказать, неряшливо-разгульная, не нравилась и не могла нравиться тому обществу литераторов, в которое я был вхож. Я по молодости подчинялся тому, что слышал.

Даровитые и ученые люди этого круга жили все готовыми, ясными европейскими идеями и вкусами; за ними жил тем же самым и я; мне, по крайней моей молодости, казались одинаково чуждыми и славянофилы, и Григорьев со своим неуловимым идеалом.

Прошло много лет; я долго жил, слава Богу, вдалеке от столиц и от мелкого обмена литературных кругов и приехал в Петербург, когда только что стал выходить журнал «Время» {5}. Я не стану объяснять здесь подробно, почему «Время» удовлетворило меня сразу бо-

лее, чем «Современник», «Русский вестник» и «Отечеств<енные> записки»; я скажу только, почему «Время» было мне *тогда* более по сердцу, чем взгляды московских славянофилов.

Под влиянием отвращения, которое во мне возбуждал «Современник», я стал ближе всматриваться и в окружающую меня русскую жизнь, и в те проявления ее, которые я встречал во время моих странствий; я начал уже чувствовать в душе моей зародыши славянофильских склонностей, но не дозрел еще, не дорос до отвращения к избитым и стертым, как «крыловский червонец», формам западной жизни.

К тому же многое рано прожитое было дорого сердцу, и к близкому, еще теплomu прошедшему можно отнести тогда лишь вовсе холодно, когда оно заменилось более высоким, более полным идеалом. Московские славянофилы имели этот идеал; для них он давно был ясен: русский мир и союз его с самодержавием, земская дума совещательная с полной свободой действия верховной власти; русская песня и русские обычаи; горячая вера

в Православие, добро и прекрасное; и чистота семейных нравов, полная внутренней свободы, веселья и любви.

Для меня идеал этот тогда не был еще ясен; и даже отношения мои к тому, что в нем мне было ясно, не были еще теплы.

Я видел, что к Онегину, Рудину и другим подобным лицам, с которыми прожила моя юность, славянофилы относятся сухо и если не громят их идеалы и их образ жизни так, как громят «нигилисты», то это лишь оттого, что литературные приемы славянофилов были вообще более возвышенны, более чисты и просты, чем приемы нигилистов, которых сила была в желчи и площадной цветистости...

Во «Времени» я встречал именно то, чего мне хотелось: теплое отношение к нашему недавнему прошедшему, к нашему *европейскому*, положим, но все-таки искреннему и плодотворному разочарованию. Другая черта, которая ко «Времени» влекла меня более, чем к московскому славянофильству, была следующая: «Время» смотрело на женский вопрос (собственно на его психическую, а не грубо-гражданскую сторону) менее строго, чем

смотрели московские славяне. Московские славяне переносили собственную нравственность на нравы нашего народа. Я сомневался, правы ли они. Мне казалось, народ наш нравами не строг, и очерки Писемского («Питерщик» и др.) казались мне более русскими, чем благочинные изображения Григоровича. (Здесь не место объяснять, счел ли я себя и «Время» правыми впоследствии или нет.)

Следующие стихи {6} Ап. Григорьева

Русский быт —

Увы! – совсем не так глядит,

Хоть о семейности его

Славянофилы нам твердят

Уже давно, – но, виноват,

Я в нем не вижу ничего

Семейного... О старине

Рассказов много знаю я,

И память верная моя

Тьму песен сохранила мне

Однообразных и простых,

Но страшно грустных...

Слышен в них

То голос воли удалой,

Все злою долею женой,

Все подколодного змеей
Опутанный, – то плач о том,
Что тускло зимним вечерком
Горит лучина, – хоть не спать
Бедняжке ночь, и друга ждать,
И тешить старую любовь, —
И т. д. и т. д.

мне казались, вернее *специфировали* великорусса, чем «Четыре времени года» Григоровича и др<угие> тому подобные вещи. Не отрицая явлений и такого рода, я говорю только, что не они характеристичны для нашего крестьянства, для великорусскоказачества, для миллионов раскольников наших, *в высшей степени великорусских* – особенно когда мы хотим сравнить их с благочестивыми и тяжелыми землепашцами Западной Европы. Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть занесенная с Запада поэзия, но живущая в самых недрах народа. Итак, эти две черты: теплое отношение к печальным, но изящным идеалам <18>40-х годов и меньшая строгость по женскому вопросу влекли меня более ко «Времени», чем к московским славянам, хотя я с каждым годом все более и более

читил их. «Время» не выяснило определительно своей задачи, Вы с этим должны согласиться; главная вина «Времени» против публики (и еще более против самого себя) была та, что оно не выработало в *собственно гражданских отделах своих ничего своеобразного*; если бы в гражданских отделах своих оно, по крайней мере, бы держалось явно славянофильского идеала, то дела пошли бы лучше. Но оно, кроме простой демократии, которая с большей силой и ясностью проповедовалась в «Современнике», ничего не давало. Но в этом виноваты были не Вы, не Григорьев. В других отделах «Время» было занимательно, но все-таки не ясно для большинства. Лучшие статьи принадлежали Вам и Григорьеву, но выводы их были все-таки не резки. Я говорю не о себе; я, мне казалось, понимал Вас, Григорьева и всю редакцию так: *В будущем мы желаем для России жизни полной и широкой, но своеобразной донельзя; перед этим своеобразием пусть побледнеет и покажется ничтожным наше полуевропейское недавнее прошлое. Однако и к этому недавнему прошлому мы не можем относиться без теп-*

лоты. И в нем мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы эти общие элементы приняли бы более русские формы. Так ли я понял Вас и Вашего друга? Если я ошибся, повторяю, поправьте меня. Итак, взгляды «Времени» были мне по сердцу, но, не любя никаких литературных сближений, я не спешил знакомиться с Григорьевым. Наконец, любовь моя к литературе взяла верх над моим отчуждением от литераторов, и я, встретив раз Григорьева на Невском, попросил шедшего со мной одного его знакомого представить меня ему. Мы зашли в Пассаж и довольно долго разговаривали там. Насколько помнится, «Время» уже пало {7} и Григорьев издавал тогда «Якорь». Я был в восторге от смелости, с которой он защищал юродивых в то положительное и практическое время, и не скрывал от него свое удовольствие {8}. Он отвечал мне:— Моя мысль теперь вот такая: то, что прекрасно в книге, прекрасно и в жизни; оно может быть неудобно, но это другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, а для прекрасно-

20... – Если так, – сказал я, – то век Людовика XIV со всеми его и мрачными и пышными сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? Если бы пришлось кстати, стали бы Вы это печатать? – Конечно, – отвечал он, – так и надо писать теперь и печатать! Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском. Не помню, по какому поводу шел по улице Крестный ход. Григорьев был печален и молча глядел на толпу. – Вы любите это? – спросил я, движимый сочувствием. – Здесь, – отвечал Григорьев грустно, – не то, что в Москве! В Москве эти минуты народной жизни исполнены истинной поэзии. – Вам самим, – прибавил я, – вовсе нейдет жить в этом плоском Петербурге; отчего Вы бросили Москву? Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов... Я был потом несколько раз у него. Жилище его было бедно и пусто. Я сначала думал, что он живет *не один*. Я знал еще прежде, что он женат, и раз на Святой неделе спросил у него: – Отчего у Вас, славянофила, не заметно в доме ничего, что бы напоминало русскую Пасху? – Где мне, бездомному

скитальцу, праздновать Пасху так, как ее празднует хороший семьянин! – сказал Григорьев. – Я думал, Вы женаты, – заметил я. – Вы спросите – как я женат! – воскликнул горько Аполлон. Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни. Я вспомнил, как говорили, что он и семейную жизнь свою поставил совсем *особо, по-своему*, – и понял, что избранный им смелый и странный путь породил, по несчастью, разрыв и нечто еще худшее разрыва. Так слышал я; но *теперь* я не позволю себе высказать все это яснее и подробнее. Вскоре после этого Ап. Григорьев пропал без вести. Вы сами, помните, не знали, где он. Я долго искал его; нашел наконец его бедный номер в огромном доме Фридерикса; но не застал его дома, и мы уже больше не встречались. Я уехал из России, а Григорьева через год не стало.

Вдали от Отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. Не потому я ее ценю выше, что дальше от ее зол, как подумают иные, а потому, что больше понимаю, узнавши больше чужое. Страна, в которой я теперь живу, особенно выгодна для того, чтобы постичь во всей ширине историческое призвание России. И эта мысль одна из величайших отрад моих. Но иногда я с ужасом вспоминаю о том, как вымирают прежние люди на всех поприщах, и боюсь, что долго некому будет заменить их.

Чем знаменита, чем прекрасна нация? Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно-удобными учреждениями. Лучшее украшение нации – лица, богатые дарованиями и самобытностью. Лица даровитые и самобытные не могут быть без деятельности творчества; когда есть лица, есть и произведения, есть деятельность всякого рода.

Ограничимся на этот раз только литературным поприщем в самом просторном значении этого слова; хотя и на других поприщах мы бы могли найти сходные явления и задать себе тот вопрос, который тревожит

иногда сердце. Какими оригинальными дарованиями, каким русским творчеством заменят поколения <18>70-х годов, когда исчезнет богатое духом поколение <18>40-х годов? Когда-нибудь не станет ни Островского, ни И. Аксакова, ни Каткова, ни других современников Ап. Григорьева, как не стало ни Грановского, ни Кудрявцева, ни К. Аксакова, ни Хомякова, ни Станкевича, ни Кольцова, ни Шевченко и Белинского, как духовно не стало Тургенева после «Отцов и детей». «Дым» доказал, что сам автор духовно стал не что иное, как прах. Какие национальные «образования» заменят их? Многие из этих людей <18>40-х годов (отцы тургеньевские) доказали, что они способны быть не только мыслящими Рудинными, но и стать во главе практических учений, способны неусыпными трудами прокладывать свежие пути, являться в трудные минуты с духовной поддержкой колеблющемуся обществу. Кто заменит их? Здесь дело не в учении, а в личности. Пространственная даль, в которой я живу от России, почти то же, что историческая даль прошедшего. Каково бы ни было направление, лишь бы оконча-

тельная форма его была *своя, наша* и дышала бы силой!

Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную эпоху миру, когда даже и то, чего недоставало тебе прежде, – политическое движение умов – нынче тебе дано, и семена этой жизни неугасимы никакой временной усталостью? Неужели ты перейдешь прямо из безмолвия в шумное и безличное царство масс? В безличность не эпическую, не в царство массы бытовой-русской, а в безличность и царство массы европейской, петербургской, в безличность торгашескую, физико-химическую и чиновничью?

Аполлон Григорьев был и сам *лицо*, и все сочинения его дышали особенностью, и несколько недосказанное направление его было – искание прекрасного в русской жизни и русском творчестве.

А. п. Григорьев хотел и старался дополнить во «Времени» и в «Якоре» то, чего, по его мнению, недоставало строгим славянофилам (которых он высоко ценил) для всесторонней оценки русской жизни.

Пока все еще трепетало перед тем внезапным порождением прежнего либерализма, которое уже и запоздалому пониманию европейцев теперь известно под именем «нигилизма русских», Григорьев продолжал служить прекрасному – не тому только прекрасному, что зовут «искусством» и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве, но прекрасному самой жизни, прекрасному в мире современных движений, в мире политических учений, в мире борьбы. Идеал Добролюбова и его друзей не мог не быть ненавистен ему; но оттого, что сокол высиживает куриные яйца, сокол не перестанет быть смелой и ловкой птицей; и Григорьев уважал Добролюбова, как лицо и деятеля. Но в то же время он решался защищать и «юродивых» в «Якоре» и, основательно утверждая, *что прекрасное в книге прекрасно и в жизни*, указывал на

задушевные изображения в наших повестях этих лиц, не подходящих под утилитарную классификацию.

Эта критическая всесторонность вредила Ап. Григорьеву; его не понимали; имя его никогда не было популярно; на многих грошовых устах это имя возбуждало улыбку, иногда презрения, иногда мудрой благосклонности к бедному безумцу.

Иные в его статьях находили нечто тайно-растленное; они были не совсем не правы. Для себя лично он предпочитал ширину духа – его чистоте. В статьях его было веяние, схожее с той струей, которая пробегает по сочным и судорожным сочинениям Мишле. Но он не скрывал этого ни от себя, ни от других; не боялся подобного обвинения. Он знал, что в полной жизни прекрасно и полезно не одно только интенсивное, строгое и чистое; он знал, что и в мире гражданских учений нужны не только политический, нравственный и религиозный аскетизм, но и широкие критические взгляды, которые в одно и то же время и выше и ниже временно-практических настроений. Ап. Григорьев становился к

своему времени в положение историческое. Подобно тому, как хороший современный француз равно ценит в прошедшем и Боссюэта, и Мольера, и Рабле, и Кальвина; как англичанин одинаково считает украшением английской истории и кавалеров, и пуритан, так и Ап. Григорьев равно умел своей художественно-русской душой обращаться и к славизму и Православию, и к притупившемуся у нас (вероятно, на время) философскому пониманию, и к железным проявлениям материализма, того материализма, который, хотя по содержанию ни русский, ни немецкий, ни французский, а всемирный, но которого приемы – как бы грубы они не были – мы должны признать вполне русскими.

«Он сам не знает, чего хочет!» – говорили про Григорьева.

Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный, сказал мне в Петербурге: «Охота Вам читать эту мертвечину – Ап. Григорьева!»

Я скоро после этого перестал с ним видеться, так он мне стал гадок своей казенной честностью, казенными убеждениями, казенной

добротой, казенным умом.

Не порок в наше время страшен – страшна пошлость, безличность! Безличность бытовая, безличность, согнутая под ярко-национальное ярмо, почтенна и плодоносна, но бесплодна и жалка наша общеевропейская пошлость!

Чтобы было яснее понятие этой общеевропейской пошлости, я вспомню одну статью из-за границы, напечатанную лет пять-шесть тому назад в какой-то газете; статья эта была написана не слабо и врезалась мне в память; ее написала Евгения Тур. Г-жа Тур назвала в ней русских «варварами» за то, что они толкуют о Ст. Милле и Бокле, не понимая их. Незаслуженный комплимент! К несчастью, именно эти заграничные путешественники нисколько не варвары, а, вероятно, люди пошлые! Пускай бы они были варварами, но такими, какими были Суворов, Потемкин и другие «екатерининские орлы», какими суть наши крестьяне, иные герои Островского и казаки Толстого. Нация больше выигрывает от подобных варваров, чем от многих наших европейцев и писателей. Кстати, желательно

было бы знать, как понимает Милля и Бокля сама авторша этой маленькой громовой выходки? Называя других варварами (не в смысле свежести, а в смысле глупости), надо было бы самой научить их, как понимать этих двух свобододолюбцев – Бокля и Милля, вовсе не похожих друг на друга. Отдает ли себе ясный отчет г-жа Тур в том, что если бы человечество решилось внимать только Боклю, который так серьезен в приготовительном труде и так мелок в общем выводе, то через несколько десятилетий не стало бы ни религии, ни поэзии, ни искусства, ни славы, ни природы; а если бы человечество поняло, что есть между строками у Милля, и, главное, послушалось бы своих догадок, то оно бы вело войны, как ведет оно и теперь, но без лицемерных оговорок, не спешило бы везде вводить парламентское устройство и строго запретило бы обрабатывать все пустыни, несмотря на мирно-либеральные увещания, которыми задабривает читателей этот, хотя и стесненный духом осмотрительного века, но все-таки смелый мыслитель. Ибо, *во-первых*, войны развивают индивидуальность как наций, так и

лиц; они прямо и косвенно подают людям повод обнаруживать творческие силы; напр<имер>, одно Ватерлоо дало множество превосходных страниц искусству, и давно ли еще напечатано было удивительное произведение Эркмана-Шатриана «Waterloo», от которого и слезы готовы литься, и волосы встают дыбом у самого закоснелого в чтении человека! Ибо, во-вторых, парламентское устройство бессильно само по себе возвысить обедневшую духовно нацию. А эпохи, полные жизни и творчества, бывали велики и без свободных учреждений: Германия Фридриха II, Марии Терезии, Гёте, Канта и Бетховена была благороднее, прекраснее нынешней Швейцарии или нынешних Соединенных Штатов, знаменитых своим самоуправлением и своим меццанством. В-третьих, ибо сам Милль говорит, что не следует человеку быть беспрестанно в обществе, что с обработкой всех пустынь, с уничтожением дремучих лесов и диких зверей пропадет всякая глубина человеческого духа (и где же говорит он это, не в книге «О свободе», но в своей «Политической экономике»!).

Чтобы доказать другим, что они пошлы, надо было самой авторше умудрить своих бедных соотичей. Что же касается до названия «варвары», то это просто обмолвка; это название слишком лестно для людей, которые носятся по железным дорогам Европы из гостиницы в гостиницу. Вот г-н Щедрин назвал их гастро-половыми космополитами, и в награду его самого можно назвать «варвар севера надменный»! Русский варвар мог вдохновить Беранже, который написал «le coursier du cosaque» {9}, но кого вдохновят (не отрицательно) те люди, которые оскверняют Невский своим пасквильно-европейским видом?

Отступление это не случайно. У Ап. Григорьева было именно то, что бы порадовало Милля и испугало Бокля, если бы они оба его знали; Милль увидал бы в нем индивидуальность человека и писателя, а Бокль понял бы, что для него *чистый рассудок* («разум» у Бокля!) вовсе не был путеводной звездой. Лично я, к несчастью, мало был знаком с Григорьевым, и биографические подробности о нем у меня почти все отрывочные.

Мне нравилась его наружность; его плот-

ность; его добрые глаза, его красивый, горбатый нос; покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой; когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего, умного купца, конечно, русского, не то чтобы на негодянта в очках и стриженных бакенбардах!

Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с Ап. Григорьевым; эта встреча, кажется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в руках; не говоря ни слова, садится и начинает играть и, если не ошибаюсь, и петь. Потом уже хозяин дома представил их друг другу.

Когда я хочу знать биографию лица, мне недостаточно отчета о его общественной деятельности, я хочу знать все его слабости, все пороки, все домашние дела, все его привычки; всю анекдотическую часть его жизни. Представляя себе Наполеона I, я думаю не

только о Маренго, Аустерлице, Бородине и Пирамидах, об административной энергии его, об его законодательстве и т. п. вещах — нет, я интересуюсь тем, что он нюхал табак, что он носил серый сюртук, что ему нравилась одно время г-жа Рекамье, что в Москве он страдал геморроем мочевого пузыря, что в молодости он был хуже собой, чем в зрелости, и т. п.

Многие читатели прощают Руссо его колебания; любят придворное тщеславие Гёте; забавную аккуратность Канта; оргии Байрона и Шеридана; грубости Петра I. Смесь пороков и благородства, смешных привычек с поразительными силами чувств и ума сильнее действует на всех, чем безупречная плоскость. Этот вкус читателей не есть, как обыкновенно думают, праздное любопытство; не праздное любопытство также и страсть многих к анекдотам про разные странности, привычки и выходки известных людей. В этих вкусах, кроме естественной и похвальной любви к увлекательному, есть как бы научное предчувствие. Когда мы описываем растение, мы не говорим только о прикладной его части, об

аптечных, фабричных и кухонных свойствах его; подробное описание этих свойств представляется особым отраслям науки; для описательной же ботаники интересны, напр<имер> в шафране, не одни только лекарственные красные тычинки его, но и корень, и листья, и микрография клеточек, и красота лепестков; ботаник обязан не пропускать даже таких мелких органов, или придатков, которых польза для самого растения до сих пор непостижима.

К несчастью, повторяю, я знал Григорьева очень мало; знал, напр<имер>, что он жил бедно и, кажется, очень беспорядочно; знал о некоторых пороках и слабостях его, слышал, как его иные звали литературным Любимом Торцовым. Но всего этого недостаточно. Я бы желал, чтобы друзья Ап. Григорьева, которые знали его хорошо, не стесняясь никакими обыкновенными приличиями, составили бы биографию, достойную этой страстной и мыслящей натуры [1].

Бояться обнаруживать ошибки и темные проступки любимого человека – значит мало надеяться на его достоинства и привлека-

тельность. Наконец и то сказать, половина читателей в самой жизни предпочитают таких беспутных людей, каков был, напр<имер>, А. де Мюссе, – людям обстоятельным, вроде Канта. А в чтении и спора нет, что биография последних настолько же бледнее и скучнее, насколько трактат о красильных веществах скучнее и ниже книги Шлейдена «Растение и его жизнь»!

Нельзя не настаивать, чтобы у нас писались хорошие, подробные и откровенные биографии. У нас до сих пор нет ни одной ясной художественной биографии таких лиц, как императрица Екатерина II, Потемкин, Кутузов, Лермонтов, Хомяков и т. д. Все сведения отрывочны. Из существующих биографий – одни казенны, другие кратки и поверхностны. Свое прошедшее мы знаем мало, а нам знать *свои*, хотя бы и поблекшие, начала нужнее, чем кому-нибудь, ввиду гражданских реформ, в соседстве подавляющей культуры Запада и той внутренней работы душ, которая недоступна политическому миру, но зато глубоко изменяет на наших глазах семейную и общественную жизнь нашу. Свое ближайшее

прошедшее мы знаем мало; молодым людям, вырастающим теперь, не только XVIII век, но и вся первая половина XIX <века>, будут скоро казаться смутной картиной без живых лиц и теплоты, из глубины которой будут до них долетать только стоны рабов, шепот взяточников и команда генералов. Да возгордятся они своей прогрессивной и бестолковой беспорочностью!

А между тем не только рабы, не только генералы, но и самые взяточники были люди, и 1000 теплых или отрадных подробностей их жизни пропадают для истории. Каковы бы они ни были, они были *русские*, а нам нужно знать Россию не по одним официальным и обличительным крайностям. Нам нужно знать, какие народные начала хорошо бы выработать, нам надо даже знать, какое зло терпеть необходимо, чтобы быть *самим собою*, а не отсталыми и робкими лакеями европейских успехов; чтобы Отчизна наша все больше день ото дня занимала в мире то духовное положение, к которому она пышностью своих составных частей призвана, помимо всякой политической силы, давно уже доступ-

ной ей.

Я не говорю уже о крестьянах, о купцах, раскольниках, казаках, обо всем том, что носит на себе, слава Богу, еще долго неизгладимую русскую печать; я говорю о нашем помещичьем и чиновничьем обществе, которое, хотя и менее народно, чем народ, но вполне все-таки и ни на одно иностранное общество не было похоже, и не похоже и теперь.

Положим, наше общество 30-х, 40-х и 50-х годов <XIX века> было заражено космополитизмом до низости; положим, наши дамы говорили иногда: «Как я могу интересоваться героем, которого зовут *Петр Иванович* ?»; положим, наши лихие офицеры, которые как следует бились под Севастополем, слишком ласкались к европейцам при мирных свиданиях с ними. Но разве этот неслыханный космополитизм не наша черта? Разве не вызван он был особыми историческими условиями, не похожими ни на французские, ни на греческие, ни на турецкие, ни на германские условия? Дело не в том, чтобы хвалить его, но чтобы изучить и понять, почему люди самые сильные, умы самые самостоятельные были

так робки в этом случае. Почему до сих пор еще этот космополитизм делает у нас успехи? Разве это не любопытно и не поучительно? Положим еще, что кроме неуместного космополитизма есть еще другая общая черта у русского общества – это какая-то неопределенность, расплывчатость, недоконченность многих отдельных явлений. Какое-то соединение сложности и бледности. Трудно сказать про наше общество то, что легко без ошибки сказать о других обществах: «Семейное начало правильно и сильно в Германии и Англии; в Италии свобода супружеских нравов доведена донельзя» и т. д. Можно ли сказать так резко о нашем обществе? Конечно нет! С одной стороны, семейная жизнь, домоседство, власть старших, доходящая до деспотизма; с другой – бродяжничество, цыганство со всеми его дурными и хорошими последствиями, неслыханная, свирепая эмансипация детей. Молодые люди, «дети» нашего времени, вырастают под самыми противоположными влияниями; сын набожного купца становится нигилистом; вчерашний космополит и атеист начинает ходить в церковь чаще, чем ходила

его мать-помещица. Один брат сочувствует полякам, другой Муравьеву {10} ; государство одевает войска в *кепи*, а молодые люди заказывают себе поддевки и красные рубашки; демагог, почитавши статьи Антоновича, поступает на службу и знакомится с людьми высшего круга; богатый и знатный гордец понижает тон. Электричество гражданских учений пробегает по обществу и целой нации, которую реформы и фактическая свобода слова застали в сложном и бледном виде, завещанном нам <18>40-ми годами. Краски начинают выступать несколько ярче, но все еще недостаточно. Их надо сознать и оценить во всей полноте. А много ли мы знаем про себя? И если знаем кое-что, то давно ли? Где у нас мемуары? Летописцы недавнего и уже забываемого прошедшего? Где биографии знаменитых людей? Сколько оригинальных русских характеров угасло в неизвестности. Многие ли у нас знают Кавказ, казаков, русское крестьянство, жизнь мусульманских племен нашей Отчизны? Кто знает Финляндию, Сибирь? Давно ли открыли, что есть на свете Белоруссия? Где у нас ясные сведения о при-

дворной жизни прошлого и <по>запрошлого царствования; и это было бы полезно изучить без светской исключительности и без скрежета плебейской зависти. Самые подробности о великой борьбе <18>12 года исчезают на всех концах России вместе со стариками и старухами, которые и не подозревают, какие сокровища уносят с собою в могилу. Ввиду подобного невежества нельзя не дорожить всяким биографическим отрывком, всяким плохим подобием записок и воспоминаний.

Нашим писателям вообще свойственны добросовестная объективность, любовь к мелочам, крайне неуместная в области искусства; для биографий же и воспоминаний она более чем полезна. Панаева обвиняли за его пристрастие к описанию поз, ногтей, рубашек и т. п.; я с этим не согласен; за неимением лучшего и его «Воспоминания» пригодны. И эта деревянная объективность в них менее возмутительна, чем в «Хлыщах» и т. п. искусственных, ложно-творческих мерзостях, где нет ни реальной, ни художественной правды.

Такие грубые, неумные, жалкие писатели повестей, как Успенский, Станицкий {11} и др. <угие>, к <ото>рым имя «легион», были бы очень почтенны, если бы обратили свою поверхностную наблюдательность на службу современной истории, вместо того чтобы осквернять мир своим творчеством. Разумеется, для них (особенно для Станицкого) это уже поздно; и угол зрения у многих из подобных творцов более современно-дидактический, чем научно-верный; но под словами Станицкий, Успенский и т. п. я понимаю нечто генерическое, ужасное в искусстве, но доста-

точно способное для летописи. Такие умы всегда будут и, лишь бы дидактизм и разные полезные негодования не сбивали их с пути, они могли бы изготовлять материалы для биографий, для истории общества и народа, предоставляя умам более обширным делать выводы и давать направление.

Когда издали посмотришь на богатство наших начал, то и писать о них как будто нет охоты. Кажется, всякий это видит и знает, всякий этому радуется! — Однако на деле немногие это видят. Немногие чувствуют, какую богатую жатву для всемирной истории готовит эта нация, в которой варварство самое темное и чреватое будущим живет рядом с усталой утонченностью, с глубокими познаниями, в которой этнографические и климатические условия так разнохарактерны и в которой разъединение сословий оставило надолго следы своеобразных путей развития. Германия, Франция, Англия дали столько лиц истории в первой половине нашего века; все эти лица оставили столько влияний и плодов в мире политики, в мире семейном, в искусстве, философии, промышленности, что поч-

ва, их породившая, надолго, кажется, изнурена. Не гниения надо за них опасаться; гниение ужасно, но плодотворно; им грозит скорее иной вид омертвления – окаменелость духа. Все, что в них есть еще замечательного, выработано прежде; молодое безлично и принуждено повторять зады в разных направлениях. Близкое будущее есть только у России и у греко-славянского мира Турции и Австрии.

И, не говоря даже о будущем, настоящее России уже полнее и богаче содержанием, чем настоящее трех путеводных наций Запада; своеобразными характерами мы и теперь богаты; славные лица старого времени, подобные генералу Муравьеву, еще живы и приобретают исторические имена, а молодое растет на почве, богатой самыми противоположными началами. Лишь бы это молодое сумело понять свое призвание и не засыпало бы на готовых либерально-европейских рецептах. Я повторяю, *дело родит лица, а лица ролят дело*. Резкие лица не могут долго оставаться при одной, бесплодной для общества, оригинальности; и даже едва ли возможна полная бесплодность оригинальности. Монах, уда-

лившийся в столб, продолжает действовать на людей, возбуждая в них своим потрясающим и смиряющим примером религиозное чувство; какой-нибудь резкий чудак не обойдется без влияния, хоть на тесный кружок семьи и друзей, не говоря уже о том, что он украшает жизнь самым фактом своего существования.

В той гамме индивидуальностей, которой и теперь уже не бедна Россия, Ап. Григорьев занимал не последнее место. И друзья его, как я уже выше сказал, должны, не стесняясь его недостатками и проступками (если таковые были), познакомить нас с ним короче. Если иные вещи не хотят печатать *теперь*, пусть запишут и сохранят. Сколько должно было быть страданий и высокого блаженства, сколько переходов в этой жизни!

Я не скажу – он умер рано; я думаю, на срок нашей деятельности есть мера выше нашей. Быть может, предоставленная ему свыше доля влияния исполнится и расширится после его смерти, благодаря тому что привлечет внимание многих к его имени и к сочинениям его, которые необходимо издать отдель-

но. Не было ли того же с Белинским? Многие ли знали его при жизни? Я хотел сказать о нем, что думал, соображая дух его статей с тем, что заметил сам в четырех-пяти свиданиях; я знаю – это очень бедно и недостойно его, но источников у меня нет, а душа и без них чует общую истину его угасшего бытия.

Мы часто ищем *русских* лиц. Вот Вам одно из них; он был похож только *на русского* и еще *на себя самого*.

Примите, мил<остивый> г<осударь>, уверение и т. д.

Примечания

1

К несчастью, находясь далеко от России, я не мог достать статью об Ап. Григорьеве, написанную несколько лет тому назад г. Аверкиевым. Быть может, и нашлось бы там отчасти то, чего я желаю.

Комментарии

1

Письмо к Николаю Николаевичу Страхову К. Н. Леонтьев прислал в июне 1869 г. из Царьграда за подписью *Н. Константинов* (псевдоним К. Н. Леонтьева). Оно содержало воспоминания о литературном критике почвеннического направления Аполлоне Александровиче Григорьеве, который скончался 25 сентября 1864 г. в возрасте 42 лет.

2

См.: *Григорьев А. А. И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо».* Письма к Г.Г.А.К.Б. // *Григорьев Аполлон. Апология почвенничества.* М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 285–384.

3

См.: *Григорьев А. А. О правде и искренности*

в искусстве // Григорьев Аполлон. Апология почвенничества. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 9–83.

4

В доме писательницы Евгении Тур.

5

Первый номер журнала «Время» братьев Ф. М. Достоевского и М. М. Достоевского вышел в январе 1861 г

6

Цитата из поэмы Ап. Григорьева «Олимпий Радин» (1845).

7

Журнал «Время» был закрыт в апреле 1863 г.

8

В своем журнале «Якорь» Ап. Григорьев опубликовал статью «Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли».

9

Le coursier du cosaque (*франц.*) – боевой конь казака, скакун.

10

Генерал Михаил Николаевич Муравьев был назначен Виленским военным губерна-

тором и командующим войсками военного округа для подавления Польского восстания 1863 г.

11

Станицкий Н. – псевдоним писательницы Авдотьи Яковлевны Панаевой (1820–1893), автора «Воспоминаний» (1890).